

Образ рассказчика в повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича»

1

«Один день Ивана Денисовича» отнюдь не пример целостного по форме сказа, где устность повествования и выраженность речевого облика рассказчика (сказителя) оказываются главными структурными координатами.

Сказовое единство повести Солженицына нарушается прежде всего стилями литературно-письменного сообщения, принадлежащего самому автору как повествователю. Возникают они обычно тогда, когда тема этого сообщения отдалена от главного персонажа как субъекта или комментатора действия. Так, например, в рассказе о фельдшере Вдовушкине:

...А Вдовушkin писал своё. Он вправду занимался работой «левой», но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отдал, а сегодня хотел показать Степану Григорьевичу, тому самому врачу, поборнику трудотерапии. (19)¹

Или — о кавторанге (капитане второго ранга) Буйновском, — здесь и обобщения, и эмоциональность повествовательной манеры отчетливо авторские:

Такие минуты, как сейчас, были (он сам не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного морского офицера в малоподвижного осмотрительного эзака, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы... Виноватая улыбка раздвинула истресканые

¹ Цитаты здесь и дальше приводятся по изданию: Александр Солженицын. Сочинения. «Посев», 1966.

губы капитана, ходившего вокруг Европы и Великим северным путем. И он наклонился, счастливый, над неполным черпаком жидкой овсяной каши, безжирной вовсе, над овсом и водой. (61-62)

Суверенны по отношению к сказовым стилям и диалоги (в отличие от диалогов лесковского сказа, сказово унифицированных). Например:

— Нет, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе! (63)

И все же стилем образующим в повести именно устное ведение речи, сказывание.

Структурные корни этого сказывания уходят в историко-бытовые и диалектные слои народного языка — просторечна лексика и фразеология, просторечно-народны синтаксические конструкции, ритмы, приемы словесного живописания и выражения экспрессии.

Фиксирующая просторечный словоотбор картотека по повести содержит свыше 250 выписок; из них около полусятни отмечают просторечные словообразовательные (иногда и произносительные) формы.

Характер словарного просторечия по природе своей причудливо разнообразен. Особое место в языке рассказчика занимает просторечие локальное, относящееся непосредственно к бытовому словоупотреблению лагерников. Это нейтрально-номинативные оперы (оперативный работник), халабуда («Производственная кухня — это халабуда маленькая, из лесу сколоченная вокруг печи». 55) и др.; это и множество речений экспрессивного типа от бранных до таких, в которых выраженность эмоций отталкивания или вражды едва улавливается. Вот ряд примеров, расположенных в порядке затухания экспрессии: падло, попки (часовые на вышках), полканы (о работающих при столовой), прикурки (и собирательное «прикурня» — об устроившихся на легкую или никакую работу), дежуряк (дежурный надзиратель), шмон (личный обыск), шмонять и т.д.

Целеустремленнее (в смысле творческой функции создания речевого облика) просторечные элементы, принадлежащие личному словоупотреблению рассказчика. Здесь и общераспространенные: з а г н у т ь (сказать неправдоподобное), в к а л ы в а т ь (интенсивно работать), п о д н а ч и в а т ь (подзадоривать), м а т е р н у т ь, г в о з д а н у т ь, н е д о т ы к а, ж и т у х а и пр.; здесь и стилевые группы таких простонародных речений, которые иногда трудно представить себе в живом звучании какого-либо одного, индивидуального, языка.

Первую группу таких речений составляют заимствования из словаря Даля вроде: в н и м ч и в о, е ж е д ё н, з а к а л е л ы й, з а т ё м к а, з а т о р и т ь, и з д о б и т ь, к е с ь, л ю т ь, об н е в о л ю, о с т о р о ж к а, п о м е н е т ь, п р о з о р, т е р п е л ь н и к и м н о г о е д р у г о е. Взятое у Даля используется иногда с некоторыми изменениями словосостава и значения: д о б ы ч н и к у Даля, н е д о б ы ч н и к — у Солженицына, б у р к о т а т ь (Д.) — б у р к о т е т ь (С.); г о р г о т а т ь приведено у Даля в значении «гоготать» (кричать, громко смеяться), в языке рассказчика — «болтать на непонятном слушателю языке» («Лежит латыш на нижних нарах... и с соседом по латышски горгочет», 114); з а х р я с т к а по Даю — «удар по шее, по голове», в повести з а х р я с т о к — обозначение места удара («И по захрястку его кулаком!» 90). Размещены эти собранные в языке рассказчика диалектизмы на диалектологической карте весьма разноместно — «захрясть», например, относится к тверским говорам, з а т о р и т ь (о дороге) — к псковским; к словечку к е с ь (кажется), встречающемуся в языке рассказчика много раз, Даль делает пометку: «влд., мск., ряз., тмб.» и т.п.

Другая группа лексического просторечия носит еще более внятный след авторских поисков в процессе просторечной стилизации языка рассказчика.

В своей работе по исследованию лесковского сказа академик А. С. Орлов писал: «Трудно сказать... какие из речений действительно подслушаны автором и какие

им сочинены в стиле, соответственном действительно существующему образцу».²

Это очень справедливо и в отношении Солженицына. Вот ряд подслушанных либо сочиненных им находок в области народно-разговорной лексики: га х н у т ь (о неожиданном выкрике, ругательстве), з а л у п а т с я («закидываться», противоречить), п о д с о с а т с я (пристроиться: «Тут же и Фетюков, шакал, подсосался». 25), п р и г р е б а т с я (придираться, привязываться), п р о к л и к а т с я (окликая, проталкиваться вперед: «Прокликаясь через тесноту... работяги... носили на деревянных подносах миски с баландой»... 13), п р о т я ж н о (в значении «долго», «много времени»: «До обеда — пять часов, протяжно». 38), р а з м о р ч и в ы й (размаривающий), с у м у т и т с я (мудрить, выдумывать разное, беспокойное для себя и других) и т.п.

Иной раз очевидность стилизаторского замысла (авторской «задумки» можно было бы сказать, следуя стилю Солженицына) сообщает таким находкам оттенок искусственности. Таковы, например: д о в и д е т ь в значении «заметить», «углядеть»; д о с п е т ь и о б о с п е т ь в значении « успеть»; на о т к р и т е (в открытом месте), н е у л а д к а, р а с с м е р к и в а л о с ь (рассветало), с о ч н у т ь (сосчитать: «...еще успел сочнуть что все на месте». 59), у л у п и т ь в значении 1. «побежать» и 2. съесть» и т.п.

То же и в части отклонений от морфологических и производительных норм. Здесь и традиционно-просторечные о к у н у м ш и, н а б р а т ы, л я ж ь (ляг), у б е г, п о т я ж е л ъ ш е, по спокойней (с самим автором поставленным ударением на последнем слоге), д е р е в е н ь с к и х (с опять-таки самим автором подчеркнутым мягким «н»); здесь и вполне неожиданные диалектно-архаические и х и м (ихним, их), и х ъ е г о («Ихъего объекта зона здоровая»... 43), л ё д у («Взял с собой для лёду топорик». 69); деепричастные образования типа п р о л ъ я («...поди вынеси не пролья.» 6), с т е р е ж а, ж д я и многое другое.

² Н. С. Лесков. Полное собр. соч-ий. Изд. 3. СПб., 1903.

Столь же обильна в языке рассказчика и просторечно-народная фразеология:

а) Местная, лагерная: паять срок, совать новую десятку (о штрафных дополнительных приговорах), качать права (требовать положенного по закону), ходить стучать к куму (доносить), залечить в деревянный бушлат («уморить» — о лагерных врачах), доходить на общих (гинуть постепенно на тяжелой физической работе), от пузза (в значении «вволю»: «ешь от пузза», «свободы здесь от пузза») и пр.

б) Своя, также отражающая немалые поиски автора в области сказовой стилизации. Традиционное, типа «горше смерти», «надоесть хуже серы горючей» и т.п. перемежается здесь с находками вроде «И в больничке от лёжу нет» или «Он ему и дых по морозу не погонит» (т.е. «не заговорит»). Среди пословично-поговорочных выражений можно различить: 1) заимствования из Даля же: «Кряхти да гнись. А упрешься — переломишься» (как формула практической философии лагерника), «Брюхо — злодей, старого добра не помнит» ... (как обозначение повседневной голодной тревоги);³ 2) семантико-стилевые параллели к известным образцам; например:

«Испыток не убыток» (ср. «Попытка не пытка»)
 «Битой собаке только плеть покажи»
 «Кто кого сможет, тот того и гложет»
 «Теплый зяблого разве когда поймет»
 «Гретому зяблого не понять»

3) образования оригинальные и по внутренне, локально, обусловленной теме, и по внешнему разговорно-афористическому обличью:

«Двести грамм жизнью правят» (47)
 «Не выкусишь — не выпросишь» (42)
 «Миски нести — не рукавом трясти» (110)
 «Волочи день до вечера, а ночь наша» (46)

³ В. Даль. Пословицы русского народа. ГИХЛ. М. 1957, стр-цы 208 и 806.

«Для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху» (13)

Разнообразны просторечные отклонения в области синтаксической структуры речи. От норм управления, например:

...а не обновишь номера впору — тебе же и кондей: зачем за номером не заботишься? (24)

От обычной последовательности частей сложного предложения:

Который бригадир умный — тот на процентовку налегает. С ей кормимся. (47)

От литературности синтаксических конструкций вообще, которые определяются здесь динамикой разговорного сообщения, его экспрессивно-интонационными акцентами, выдыхами и перебоями:

Видит Шухов — заметался Цезарь, тык-мык, да поздно. (124)

Восемнадцатым и Шухов втиснулся. Да бегом к своей вагонке, да на поднапорочку ногу закинул — шасть! — и уж наверху. (132)

Дошла каша — сейчас санинструктору: ешь от пузя. И сам — от пузя. Тут дежурный бригадир приходит, меняются они ежедён — пробу снимать, проверять будто, можно ли такой кашей работая кормить. (56)

Интонации сказывания создаются также инверсией:

А вот пришла 104-я. И в чем ее души держатся? — брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозяка трещит, ни обогревалки, ни огня искорки. А все же пришла 104-я — и опять жизнь начинается. (45)

Возникают типично сказовые интонационные членения, ритмы, повторы, отражающие черты устного речеведения, само «дыхание» рассказчика:

А было вот как: в феврале сорок второго года на северо-западном окружили их армию всю, и с самолетов им ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не было. Дошло до того, что строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели... (52)

Так он и ждал, и все ждали так: если пять воскресений в месяце, то три дают, а два на работу гонят. Так он и ждал, а услышал — повело всю душу, перекривило: воскресеньице-то кровное кому не жалко? (102)

В речевую ткань повествования вводятся стилевые элементы фольклорного типа:

Диво дивное: вот время за работой идет! (50)

Стежь, стежь — вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. (22)

Долго ли, коротко ли — вот все три окна толем зашили. (49)

Народно-сказового типа и живописание словом. Характер пейзажа, например:

Напересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, — солнце встает большое, красное, как бы во мгле. (35)

Солнце взошло красное, мглистое над зоной пустой: где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая... (37)

Сравнения:

...кожа на лице, как кора дубовая. (36)

Окружили ту печку, как бабу, все обнимать лезут (54)

...черпак ...пустых щей для него сейчас, что дождь в сухмень. (100)

...сидят один к одному, как семечки в подсолнухе... (108)

...с верхних коек прыгают медведями (123)

Из всех — вкупе — рассмотренных выше особенностей и приемов авторского творческого отбора в представлении читателя сама собою складывается языковая маска рассказывающего, с чертами одного из простых, умудренных лишь тяжким жизненным опытом, лагерных «работяг». Синтетический характер этой маски делает тем не менее весьма интересной более точную идентификацию лица, которому она принадлежит.

Вот хлеба четыреста, да двести, да в матрасе не меньше двести. И хватит. Двести сейчас нажать, завтра утром пятьсот пятьдесят улупить, четыреста взять на работу — житуха! А те, в матрасе, пусть еще полежат... (117)

Говорит Шухов (внутренний монолог). Это его, зэка из бывших колхозников, словоотбор («нажать», «улупить» в значении «съесть»), его, довольного малым, экспрессия («Житуха!»), — словом, его говорок, к которому прислушивается читатель на протяжении всей повести.

Но если продолжить цитату, то за словами «еще полежат» следует:

Хорошо, что Шухов обоспал, зашил — из тумбочки, вон, в 75-й уперли — жалуйся теперь куда хочешь. (117)

Это «...Шухов обоспал, зашил» и т.д. выдвигает перед читателем «я» собственно рассказчика, говорящего о Шухове в третьем лице. Рассказчика сказового, чья речевая манера отлична от письменно-литературных стилей от-авторской речи в повести, с шуховским же говорком совпадает вполне.

Совпадение это⁴ особенно полно в части «комментариев к действию», относимых то к «я» рассказчика, то к «я» самого Шухова и имеющих часто форму внутреннего монолога. Эти «комментарии к действию» — уточнения, афоризмы, оценки — составляют стилевой стержень сказового повествования. Их отнесенность к тому или другому сказовому «я» кажется, однако, иной раз случайной: в том же, например, приведенном выше продлении рассказчиком шуховских размышлений («Хорошо, что Шухов обоспал, зашил...») стойти только выпустить имя (Шухов) — и фраза органически примкнет к шуховскому внутреннему монологу:

..четыреста взять на работу — житуха! А те, в матрасе, пусть еще полежат ...Хорошо, что ...обоспал, зашил,

⁴ Сравнение речи рассказчика и реплик, принадлежащих непосредственно Шухову в диалогической речи, устанавливает совершенную общность словаря, фразеологических и фразовых особенностей и конструкций.

из тумбочки, вон, в 75-й уперли — жалуйся теперь куда хочешь.

Иногда, если связь комментариев-монахов с субъектом текущего действия выражена нечетко, отнесенность эту вообще трудно определить. Вот, например, автор вводит читателя вместе с Шуховым в лагерную столовую:

Внутри стоял пар, как в бане, — напуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликавшись через тесноту, от каждой бригады работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них места на столах. И все равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на тебе, толкнул поднос. Плесь, плесь! Рукой его свободной — по шее, по шее! Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать. (13)

Первые пять строк этого описания (если не считать придуманного словечка «прокликавшись») выдержаны в нейтральном стиле авторского письменно-литературного повествования. Затем следует резкий переход к устности — сказово-просторечный «комментарий», тоже в пять строк. Кому он принадлежит? Шухову? Или тому, кто рассказывает о нем, как бы стоя с ним где-то рядом, плечо к плечу, и передавая нам этот комментарий от его имени?

И дальше:

Там, за столом, еще ложку не окунули, парень молодой крестится. Значит, украинец западный, и то новичок. А русские — и какой рукой креститься забыли. (14)

Кто видит это: Шухов? рассказчик? оба одновременно?

Это двуединство облика сказового рассказчика нигде не расчленяется грамматическим «я»; синтетическая его природа, напротив, отчасти подчеркивается прорывающимся кое-где «мы»:

1. И попрятались все. Только шесть человек стоят на вышках, да около конторы суeta. Вот этот-то наш миг и есть! Старший прораб сколько, говорят, грозился разнарядку всем бригадам давать с вечера — а никак не наладят. ...А миг наш! (37)
2. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке, протискался через линейку на тот бок. Там к художнику два-три зэка в очереди стояли. И Шухов стал. Номер нашему брату — один вред... (24)
3. Тридцать восьмая, конечно, чужих никого к печке не допускает, сама обсела, портняки сушит. Ладно, мы и тут, в уголку, ничего. (37)
4. — Раство-ор! — перенимает Шухов. Всё подровняли в третьем ряду, а на четвертом и развернуться. Надо бы шнур на рядок вверх перетянуть, да живет и так, рядок без шнура прогоним. (79)

В первых двух примерах эти размышления от первого лица («наш», «нашему брату») могут, как и в ряде других случаев, принадлежать и сказовому рассказчику, и Шухову самому; «мы» здесь — «зэки» вообще.

В примере третьем «мы» более персонализовано: — в нем сливаются, по-видимому, оба сказовых «я»; оно здесь может означать и только одно лицо.

Так же и в последнем примере, взятом из описания кладки Шуховым стены на строительстве ТЭЦ (одного из самых ярких эпизодов в повести), «мы» в прогоним имеет уже конкретно-личностное значение — оно соотнесено с «я» самого Шухова.

Это раскрывающееся наконец «я» главного персонажа невольно отводит читателя к автобиографической природе повести: в каторжном лагере Караганды Солженицын, по собственному признанию, сделанному им одному из интервьюеров, «работал каменщиком и там же задумал повесть об Иване Денисовиче». ...«заключенные носили свои номера на лбу, на груди, на спине и на коленях. У Солженицина был номер 232».⁵

⁵ Цитируется по статье Марка Слонима «Интервью с Солженицыным» в *Новом Русском Слове* (Нью-Йорк) от 21 мая 1967 г.

**

Образ рассказчика в сказе отчетливее всего проясняется сопоставлением его с речевым обликом самого автора. Соотношение этих двух обликов обычно определяет структурные формы сказа и интенсивность сказовой стилизации.

Композиционно-стилевую структуру повести «Один день Ивана Денисовича» создает движение от письменно-литературных стилей, принадлежащих автору, к устным, принадлежащим сказовому рассказчику.

Как и у Лескова, первичным приемом сказового «остраннения» оказывается введение элементов несобственно прямой речи. В приводимом ниже отрывке выделенное разрядкой принадлежит речевой сфере Шухова:

Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось, то вроде совсем заболел, то отходил мальчишко. (6)

Черты несобственно прямой речи могут перерастать в семантико-стилевое целое — внутреннюю реплику, например, сказового типа:

Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать, как он пришел туда с поврежденной челюстью и недотыка ж хренова! Добрюю волею в строй вернулся. А мог бы пяток дней полежать. (19)

Структурно-стилевой «эталон» речевой ткани повести Солженицына вообще, как правило, представляет собой движение, первая часть которого — констатация сюжетно-коммуникативного характера, вторая же — комментарии типа внутреннего монолога, уже упоминавшиеся выше. Часть первая по своему стилевому облику может принадлежать: автору (1); автору и сказовому рассказчику вместе, то есть содержать разнородные по стилю элементы (2); сказовому рассказчику одному (3) — «движение к устности» в последнем случае особенно на-

глядно. Часть вторая всегда выдержана в форме сказовой, устно-речевой импровизации. Примеры:

1. Было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды. И все так же широкими струями два прожектора резали лагерную зону. Как этот лагерь, особый, зачинали, — еще фронтовых ракет осветительных много было у охраны, чуть погаснет свет — сыпят ракетами над зоной, белыми, зелеными, война настоящая. Потом не стали ракет кидать. Или дорого обходятся? (15-16)
2. Потом Шухов снял шапку с бритой головы — как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке и, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, средне. Не с начала бака наливали, но и не добавлтики. С Фетюкова станет, что он, миску стережа, из нее картошку выловил. (14)
3. Отпыхался Шухов пока, оглянулся — а месяц-то, батюшка, нахмурился багрово, уж на небо весь вылез. И ущербляться, кесь, чуть начал. Вчера об эту пору выше много он стоял. (85)

Это целеустремленное движение к устности помогает идентификации образа рассказчика в «Одном дне Ивана Денисовича»: карагандинский зэка № 233, задумав писать повесть из жизни каторжного лагеря, растворил себя в сказовом просторечии зэка № Щ-854.

3

Тягу к устности речевого отбора, отчасти и к сказово-интонационной напевности речевого строя, находим во всех позднейших (из числа опубликованных) вещах Солженицына.⁶ В рассказе «Матренин двор», например:

⁶ Напевности нет в рассказе «Для пользы дела», где обилие диалогов почти полностью вытесняет стили от-авторского сообщения.

И шли года, как плыла вода ... В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за слепоты. (216)

И попросила она у той второй забитой Матрены чрева ее урывочек (или кровиночку у Фаддея) — младшую их девочку Киру (216)

Автор как бы следует своей героине в словоотборе и речевой интонации:

Так одной утельной козе собрать было сена для Матрены — труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по задороге, по островкам среди болота. (206)

И в других рассказах:

И теперь, когда со станции, где холодный ветер нес перемесь дождя и снега, где изнывали эшелоны, безутолку толпошлились днем и на черных полах распологом спали ночью люди, — как было поверить, что и сейчас есть на свете этот садик, эта девочка, это платье? («Случай на станции Кречетовка», 179)

Тогда народ наш в седьмую ли долю был так люден, как сейчас, и эту силищу вообразить невозможно — двести тысяч! («Захар-Калита», 304)

Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро: вон дача его, купальня его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погодя — выстрел. («Озеро Сегден», 292).

Подчеркнуто разговорен синтаксис («А выглядел Зотов себе еще работу такую».... 149-50). Просторечный словоотбор в духе выделенного выше разрядкой представлен обилием заимствований из Даля: клешнить, ослониться, доброжилой, навыпередки, обмышку, прихотник и пр. Здесь и находки самого автора — встречавшиеся уже в «Одном дне» запышенные (запыхавшиеся), рассстарываться (стараться); и новые: лив («...стоял в шинели под лив, хлест, толчки ветра» 140), вразнокап («шапки были только слегка примочены, вразнокап», 160), на досвети (на рассвете), утыкалка для ручек, увышатель («Долгая голова еще увышала его», 281), угрозить

(«...угрозила ему пальцем»), «безлукавая память», «отрубисто ответить», «злонаходчивый забор», «чудомудрый пиджак» и др. Встречающееся в рассказе «Для пользы дела» утверждение по поводу некоторых военных слов и выражений: «Русский язык расчудесно обможется и без них» (278) можно отнести и к иным словообразованиям самого автора, но, кажется, и его собственное отношение к ним критично — в упомянутом выше интервью он признается, что довольно часто ошибался в своем экспериментальном словоотборе.

Наиболее полно взгляды Солженицына на обиход современного русского литературного языка отражены в его статье «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана», напечатанной в «Литературной газете» № 131 1964 года. Этой статьей Солженицын включался в дискуссию о стилистике современной советской литературы, начатую в той же газете академиком В. В. Виноградовым, которая, в части собственно языка, велась между поборниками просторечия и сторонниками нормативного лексического отбора.⁷ По мнению Солженицына, словарь и склад устной народной речи «дает нам еще не оскудевший источник напоить, освежить и воскресить наши строки». Солженицын приводит множество примеров просторечной лексики и словообразований в духе использованных им в «Одном дне» и в стиле избранного им для статьи заголовка.

В свете таких рассуждений отмеченные выше примеры столкновения просторечных и книжных элементов в сюжетно-коммуникативных стилях рассказчика (типа: «...мог он себя допустить есть в шапке — и, взмучивая отстоявшуюся баланду,... проверил, что там попало в миску», 14) получают дополнительное объяснение, которое впрочем еще более подчеркивает динамику «движения к устности».

⁷ Среди первых особенно воинствующую позицию занимал А. Югов (см. его статью «Эпоха и языковой пятак» в Литературной газете от 15 и 17 января 1959 года); противники его, учитывая послеоктябрьские социальные сдвиги и потрясения, приведшие к стихийной демократизации языка, отстаивали необходимость традиционной нормализации литературной речи.

**
**

«Саморастворение» автора в речевом облике колхозника-сказителя немыслимо, однако, объяснить одной лишь приверженностью к словарю и складу устной народной речи — контраст между семантико-стилевыми основами обоих языков слишком велик.

Это саморастворение есть несомненно замысел автора, генезис и природа творческого его процесса, скованного в свободном своем течении «методом» социалистического реализма.

В интервью 1890 года с одним журналистом.⁸ Лев Толстой высказал такую внешне парадоксальную мысль: «Вредно и нехорошо, — сказал он, — когда произведения печатаются при жизни их автора: он, когда пишет, не свободен, он непременно будет думать, что скажут о его труде, как его встретят и пр. и пр.»

«Непременно думать», взявшись за перо, должен был и Солженицын, думать о том, как встретят его повесть партийные редакторы и что и как сделать, чтобы ее не постигла судьба «Доктора Живаго». Запретительность несравненно в большей мере, чем программность, составляет существо социалистического реализма в литературе: автору предписывается отказ от традиции критицизма, отказ от попытки наделить своего положительного героя мировоззрением и суждениями, сколько-нибудь отличными от обязательной в СССР идеологии.

Проблему «автора и героя», поистине головоломную в свете этой запретительности и автобиографичности повествовательной темы, Солженицын решил прежде всего средствами языка: растворение автора в облике сказового рассказчика обеспечило такое изображение «человека за проволокой», которое, как выразился в предисловии к «Одному дню» Твардовский, «ограничено ... кругозором главного героя повести».

Какие-либо обобщения, устанавливающие связь жестокой лагерной действительности с природой господствующей в СССР системы, были этому кругозору не по

⁸ Журнал Новый мир № 3, 1963.

плечу. Во спасение повести кругозор этот занят был «хлебом единым».

«Не хлебом единым» сказалось лишь в символике некоторых эпизодов и картин. Например — в описании кладки лагерной ТЭЦ, лучшем в советской литературе, по богатству и подлинности живописной экспрессии, изображении трудового «порыва». Объяснение этому порыву надо, однако, искать в «Записках из Мертвого дома» Достоевского, но никак не в современных программных его толкованиях: при всем желании немыслимо ведь присвоить лагерным заключенным «энтузиазм социалистического строительства».

А то, как об этом порыве рассказано, раскрывает за маской сказового рассказчика образ большого и самобытного мастера творческого слова.